

МАРК

ХАРИТОНОВ

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА



Московский рабочий

1994

ББК 84Р7
Х20

Художник **Марат Ким**

Харитонов М. С.

Х20 Избранная проза: В 2 т. Т. 2. М.: Моск. рабочий, 1994.— 351 с.

В декабре 1992 года впервые в истории авторитетнейшая в мире Букеровская премия по литературе присуждена русскому роману. И первым букеровским лауреатом в России стал Марк Харитонов, автор романа «Линия судьбы, или Сундучок Милашевича».

Богатство фантазии Марка Харитонова раскрывается не только в романе, увенчанном премией, но и в повести «Сторож», в разнообразных по сюжету и стилистике рассказах, эссе. Городок, подобно Китежу, ушедший в воду вместе с поэтическими воспоминаниями детства, поселок, по неизвестной причине покинутый жителями,— вот странный мир, в котором живут герои М. Харитонова, мир хаоса и распада. Но из хаоса и распада есть выход — тоже странный, тоже на первый взгляд невероятный: «Но видит Бог — есть музыка над нами». Соотнесенность материальных и духовных основ человеческого существования — сквозная тема этой книги.

Х 4702010201—111 119—93
M172(03)—94

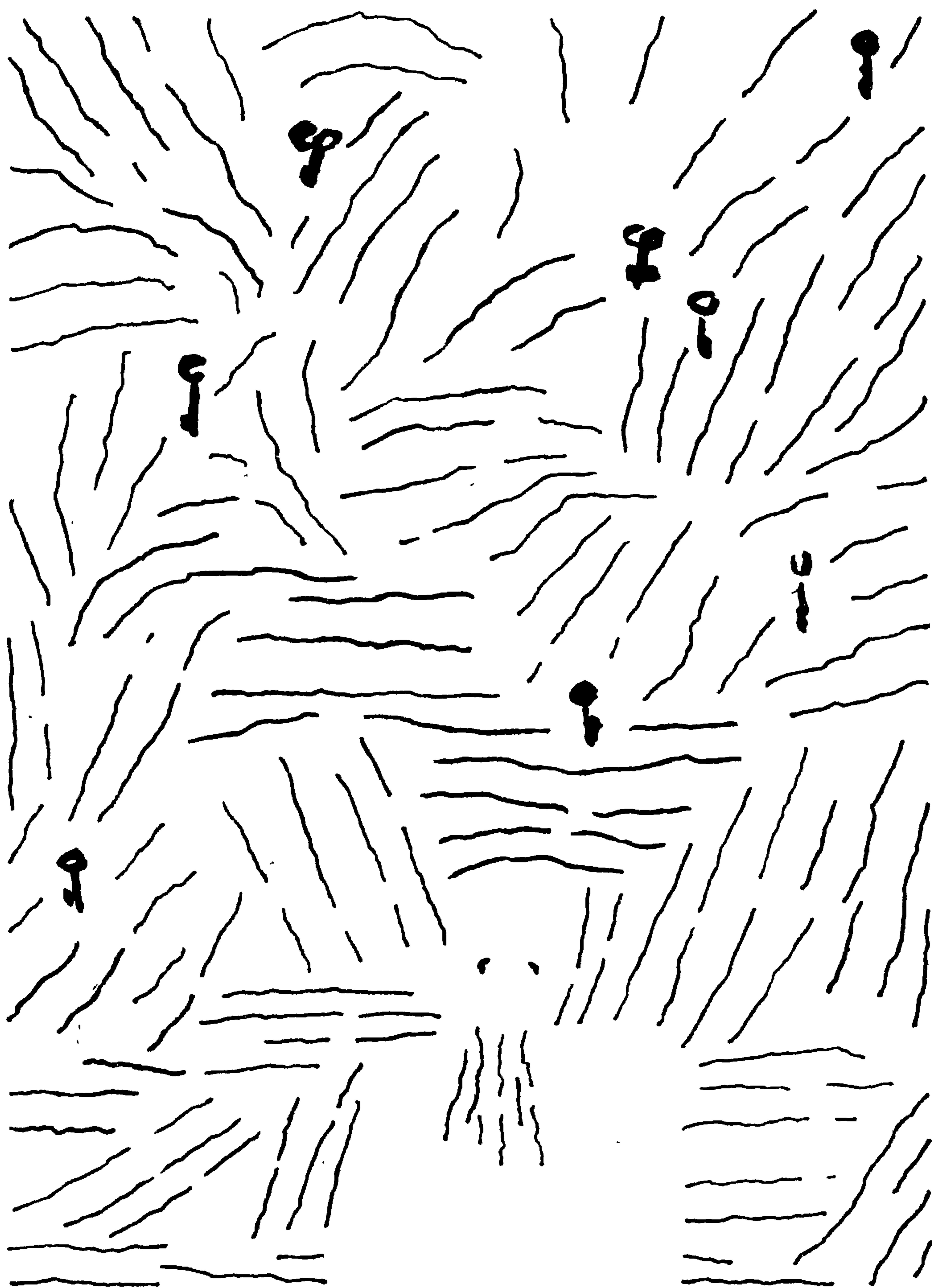
ББК 84Р7

Книга издается совместно с издательством «ФАЙЯР» (Париж)

ISBN 5—239—01861—8

© М. С. Харитонов, 1994

Агасфер



Рассказ

Сон был напечатан на шершавой бумаге с пыльным запахом, буквы сливались в слова, мысли, картины, и с ними нарастало, наплывало, надвигалось чувство близкой ясности, разрешения — и почти на вершине срывалось, оттягивалось, но продолжало мерещиться среди шепотов, подвешенных в пустоте

*там по скорбным холмам, по туманным долинам
безутешно бродила тень, потерявшая своего человека*

Это был шепот об истине, которую, проснувшись, не можешь вспомнить (внутренность опрокинутого сосуда еще томится, еще трепещет у стенок запах) — но ведь была она... уже просвечивала на обороте страницы, только перевернуть — так просто!.. Почему же тоска и предчувствие неудачи сводили пальцы, предопределяя беду? Книга выскользнула, расслоилась на плохо скрепленные тетради, на ветхие листы. Он кинулся подбирать, второпях путая порядок, ему и не нужно было все — единственная страница, единственная строка... вот она, он даже прижал пальцем, чтобы не утратить. От резкого прикосновения буквы одна за другой стали осыпаться в щель между листами, словно пересох клей, закреплявший их. Он еще пытался удерживать, выковырять хоть остаток... безнадежные обломки слов... как назло, и ногти вчера остриг...

*река увязла среди трав, не находя устья, и звук
оборванной струны затихал в провале*

Тело возвращалось в себя, изнемогшее, точно после тяжелой работы. Книга, с которой он задремал, дожидалась на полу под кушеткой. Она была цела: добротный, по заказу, старинный переплет, выпуклое

тиснение. Свет от зарешеченного окна простирался внутрь комнаты, нарезанный плотными, трепетными ломтями. Высокий потолок, как свод темного церковного нефа, терялся в сумраке. Стены сплошь облеплены были книгами, они расползались по всем выступам, громоздились на столах, на стульях, присосались к нише за дверью, стопами вырастали на полу. Несколько пачек уже обосновалось на кушетке у него в ногах. Он сам занимал лишь ее скудную часть — маленький человек с призрачно-седой бородкой, с лицом цвета картофельного проростка, даже немного впрозелень. Траченный временем плед почти не грел его, и трудно было сказать, зябкость ли вторглась в сон или продолжалась наяву дрожь сновидения.

Что-то надо было сделать, что-то надо было предпринять, чтобы успокоиться. Переплетом заняться... чем же еще? Уже подобралось несколько обветшавших. Зажег спиртовку, поставил вариться клей. Сладкий дух ремесла коснулся ноздрей, и они встрепенулись, облаканные. Глядишь, еще выберусь сегодня на промысел, усмехнулся он. Был один адресок, по которому давно бы стоило заглянуть. Он умел иронизировать над своей страстью книжника, над инерцией, не столь уж далекой от идиотизма — так умный шут бесстрашно и трезво насмешничает над господином, сознавая, что и на волос не стронет его власти. Куда уж теперь! И что он сам без этой власти? она одна еще направляла куда-то его жизнь. Какая другая сила вытянула бы его на улицу, где как-никак, но шло время — протягивалось со скрипом через шестерни, через изношенные, с песком, колеса. Здесь, как в заводи, его не было слышно; настенные часы старинной немецкой работы остановились когда-то в бомбежку, стрелки заросли шерстью и обвисли, внутренности расползлись и истлели — где-то на обоях осталось от них пятно; если снять две полки над дверью, его, наверно, можно еще увидеть. Или то было одно из ложных воспоминаний, проросших в воспоминания подлинные?.. недовершенство существования, где даже сны он не видел, а читал, где страницы книг и полудремотные видения незаметно переливались друг в друга, и стук собственного сердца доносился откуда-то извне, как молоток в старинном театре, возвещавший начало нового действия.

— А вот и я! — с порога объявил Жлухтин, приподнимая наотлет шляпу. Актер из него был плохой, суетливый, ему не хватало уверенности в себе, а значит, вкуса.— Не разбудил? Стучу, а дверь открыта. С такими сокровищами, Владимир Модестович, надо побдительней. И звоночек хорошо бы починить... Ай-яй-яй, а вы опять того... расклеились. Так я и знал! Так и чувствовал! Вот, в магазин по пути заглянул. Булочка, сырок тут ваш любимый, то да се...

И в такт отбивал подошвами чечетку ритуального приветствия — запыхавшийся от темпа труженик, артист оригинального, и только оригинального жанра.

На ворсе его пальто блестела пыль талой изморози или дождя. Он поместил среди книжных стоп авоську и раздутый портфель, напоминавший поросенка, а взгляд проверяюще (все ли на месте?) рыскнул по комнате, споткнулся, как всегда, на решетке. С последнего своего визита актер еще больше облысел, обрюзг, набух нечистыми соками. Старик рядом с ним наглядно сох и уменьшался в росте: можно было подумать, что между ними существует невидимая пуповина, по которой переливался от одного к другому телесный состав. Он возник здесь давно, в один из точно таких же дней, когда старик казался уже не жильцом на свете: совсем еще молодой человек с румянцем на щеках и с девичьими ресницами, с таким знакомым, таким понятным, таким дурным огоньком в красивых зрачках. И с тех пор возвращался безошибочно, как время года, как болезнь, угадывая на расстоянии, когда старику становилось плохо.

— Ох-ох, жизнь наша,— без надобности громко разглагольствовал Жлухтин, на ощупь приглаживая на темени зализ.— Недавно мне рассказали, Владим Модестыч, жуткую историю. Ка-шмар. Умерла, понимаете, художница, немолодая уже. Одинокая. Всю жизнь только и ваяла свои эти самые картины. Ради них и замуж не вышла, и семьей не обзавелась. Дрожала, как над цыплятами, от себя не отпускала. Не то что не дарила, а продавала со скрипом. Не знаю, много ли у ней и спрашивали. Вроде не шибко была знаменитая. А теперь поди скажи, чего они стоили. Умерла, как говорится, в одночасье, родственников никто не объявился, имущества, считай, не было. А что было, о том

загодя не позаботилась. Да-а. Управдом глядит, вся жилплощадь заставлена использованными холстами или там картонами, новому вселению мешают. Что ему? Велел вынести во двор, в кучу собрал, керосинчиком sprysнул... Ничего, а? Театр абсурда, как среди нас говорят. Хотите, я вам сразу открою баночку? Ну, как знаете. Да-а. Жил, понимаете, человек, тыркался. Может, оставить после себя что-то хотел. Нет! Фу-у... И следа не осталось.

Он когда-то уже рассказывал этот сюжет, но то ли забыл, то ли был уверен в забывчивости старика. Не имело значения. Их разговоры давно бродили по кругу — вокруг да около чего-то, хорошо обоим известного: все ближе, все нетерпеливее...

— Она жила и заслужила покой,— усмехнулся старик, и слабый голос его прозвучал неожиданно чисто и ясно.— Ей было дано не присутствовать при своем поражении. Если б вы могли понять, Жлухтин, как это много стоит. Увы, вас сбила с толку чуждая вам напасть. Ведь природой вы созданы для радостей мирных: чтоб вкусно есть, любить женщин, нежиться в мягких креслах, ублажать публику чревоуважением или ловкостью рук, дожить до пузатой толстогубой старости и наслаждаться анекдотцем за рюмкой водки. Зачем вы дали себя отравить ненужной заразе? Вы готовы бог весть на что ради книг, которых толком и прочесть не способны. И хотите еще смысла? Неужели вас в самом деле заботит, что станет с вашими отложениями, выделениями или, как выразились вы, следами?

Актер оскалился, изображая ухмылку. Он для таких случаев держал одно французское изречение, но вдруг засомневался какое: то ли се ля ви, то ли тет-а-тет.

— Нет, нет, вы ничего, молодцом,— заерзал он.— А мне показалось: того...

— Или вы рассказываете свои душеспасительные притчи, чтобы я...

— Давайте хоть бутербродец налажу,— вполношенно искал деятельности Жлухтин.— Что вы сегодня, в самом деле?.. Кстати, Владим Модестыч, может, вам интересно: занятную мне рассказали статейку. Как один ученый объясняет долголетие горных жителей.

Обратите, говорит, внимание, что у всех совпадает: никто из них никогда не купался в море. Даже, кажется, в реке. Вообще они редко моются. Ничего, а?

По простоте своего устройства он еще предпочитал числиться неразгаданным, потому что из года в год ничто между ними не называлось последним словом. Он до сих пор не уразумел, как попался, однажды угодив в эту комнату с решеткой, вызывающей зябкие воспоминания — суетливый пуганый хищник, с тоскливым упорством ждущий, пока сама не свалится под ноги добыча, осилить которую не хватает духу. Ведь близко, вот-вот... Порой старик испытывал к нему почти родственную жалость и нежность — так любят в семье убогого от рожденья брата. Какой бес подталкивал сейчас его дразнить? — словно смутный замысел сна дошептывал рискованное продолжение (где-то вверху правой страницы... шум в ушах, мушиные кружева).

— Ладно, Жлухтин. Взгляните лучше на это.

Актер недоверчиво взял книгу в толстые пальцы с короткими крепкими ногтями. Любопытно было наблюдать, как черты его замерли, едва он вчитался в титул; лицо налилось краской, на лысом темени закровенел прыщ. Он заглянул в последнюю страницу, потом опять на обложку, что-то стал искать глазами в комнате:

— Это... то есть?..

— Именно,— подтвердил старик.— Можете не смотреть в каталогах.

— Но... то есть... откуда? Когда вы успели?

— Что ж я, без вашего надзора и не ступлю?

— Я не в том смысле, Владим Модестыч,— поспешил замять тему актер.— За кого вы меня... и что у вас сегодня за настроение?.. Но переплетец, вы посмотрите... ведь это настоящий Паньян... ай-яй-яй! Как вы... то есть я не выпрашиваю, но восхищаюсь.

И в голосе его, всегда запыхавшемся и даже запаренном, пробивалась медь искреннего пафоса.

— Это ведь бывает чутье! Благороднейшее чутье, как, скажем, на подземную воду или руду. А, Владим Модестыч? Когда волшебная палочка рвется и сама тук-тук оземь: здесь копай. Честное слово, сам, бывало, чувствую: веко дергается, кончики пальцев холо-

деют и, так сказать, щекотка в левой ноздре: тут, тут! Но с вами я, что говорить, не равняюсь. Вы для меня, Владим Модестыч, загадка, признаю... У меня вон, к слову сказать, тоже пара новинок, захватил похвастать. Но даже совестно в таком сравнении.

Он шумно завозился над застёжками, обжимая шевелящиеся бока портфеля; из-под клапана, почуяв волю, выперла на миг ножка с белым копытцем; актер поспешно запихнул ее обратно, уминая хрюканье и визг, другой рукой извлек книги и ловко стянул защелку.

— Тоже работенка,— сказал он, отирая лоб большим мятым платком.— Хорошо, кто собирает миниатюрные издания. В таком вон чемоданчике унесешь библиотеку на сто тыщ. Я смотрел у одного: ну, спичечные коробкí, самое большее. Только под микроскопом читать. Всякие бывают сумасшедшие. Да-а... Вот, хотел показать, по-своему необычайная вещь: теория карточной игры для шулеров высшего класса. Специздание, так сказать. Десять нумерованных экземпляров. Без цензуры и указания типографии. Часть первая: общая стратегия, тактика и психология. Часть вторая: особые приемы по разновидностям. Вист, очко, преферанс и черт знает какие тонкости. Прямо досада берет, чего ты не шулер. А вот тоже в своем роде занятное изданище: «Описание курицы, имеющей в профиль фигуру человека». Ведь так подумать: бред коровий, а цены ему нет, ибо — уникам. Театр абсурда, Владим Модестыч, ведь театр абсурда! Вся цена от единственного числа! Если б авторы не рвались осчастливить сразу множество народа или тем более все человечество — разве б они столько стоили? Э! Чего можно ждать от этих, так сказать, великих книг — известно, за тыщи лет опробовано — и что? А тут,— он вновь бережно взял том,— кто знает? вдруг что-нибудь прячется этакое...

Старик прикрыл веки, едва заметная тень изменила выражение его губ.

— Автор этих записок, Жлухтин, размышляет между прочим о невозможности передать другому постигнутое. Одни и те же слова слишком разное значат для разных людей. Не ново, что говорить. Но когда чувствуешь себя таким одиноким, как он — человеком без современников... не осталось никого, кого бы ты не пережил...

— Э, а все-таки захотел высказаться. И даже издал вон как!

Старик вскинул на него взгляд — очень коротко, актер и не заметил (он дул на страницу, стараясь перевернуть ее без помощи пальцев); затем веки вновь опустились — выпуклые, как слепые глаза классических изваяний.

— Вы угодили в суть, Жлухтин. Трудно быть последовательным. О тех, кто был последовательным, мы вовсе не знаем. А этот сам слишком книжник, для него жизнь не вполне реальна, пока не переведена в значки... хоть в такой вот части...

— То есть? — брови на лбу актера сошлись (две мохнатые гусеницы обнюхали одна другую). — Это незаконченное издание? Еще есть выпуски?

— Жлухтин! — тихо засмеялся старик, и звук его смеха был чист. — Вам что-нибудь говорит имя в подзаголовке? Или вы даже не знаете, кто такой Агасфер?

— Вечный Жид? Ну почему же. Была где-то даже пара книжек.

— Вечный Жид, бессмертный странник. Как могут кончиться записки бессмертного?

Актер посмотрел на него, пожевал губами, усваивая новый поворот.

— А, в этом смысле. Вас, Владим Модестыч, не поймешь, когда вы шутите, когда всерьез.

— Всерьез, пишет здесь автор, говорят, когда что-то может измениться от твоих слов. Когда есть, что выбирать.

— А,— согласился актер. Он не собирался вникать в темную логику собеседника и с терпеливостью сиделки не перечил ей; но сегодняшняя оживленность старика его настораживала: не крылось ли за ней чего? — Как говорится, хорошо тому, у кого в запасе вечность. У меня, знаете, ночью зуб болел, тоже скулил на разные высокие мотивы. Вообще начинаю сдавать. Да-а... А этого, я что-то не помню, бессмертием наказали. Забыл только, за что.

— Если без подробностей: не уважил человека перед смертью.

— А-а, ишь... наказаньице. Хотя, если так вникнуть... тоже небось что-то вроде затяжной бессонницы.

— Вы сегодня потрясаете меня своим глубокимыслием, Жлухтин,— без улыбки сказал старик. — Но

бессонница — было бы слишком просто. Бессмертие — нечто другое.

— Что же это? — рассеянно спросил актер и вновь подул на страницу.

— Бессмертие — это бесформенность.

дыханье тумана, круговорот облаков, тающих, растворенных в воздухе, когда теплота его неотличима от теплоты твоего тела — растворенность, вездесущность, всепонимание, которое не назовешь мудростью

— Как ни странно, Жлухтин, после смерти жены я ни с кем так не говорил всерьез, как с вами. Если б вы только способны были понять. Не смотрите, что я все усмехаюсь. Это скорее над собой. Я слишком узнаю себя в других. Когда я читал, как гоголевский Петрушка восхищается, что вот из букв всегда что-то выходит — сам сложенный из букв, — я над ним не смеялся. Я его понимал. Той же метой мечен. Я любил наблюдать читающих людей: на случайной скамейке, в вагоне. Хмурятся и расслабляются брови, губы подрагивают, тени пробегают по лицу. Где он, этот человек? в каком измерении? Здесь лишь оболочка. Какие сгустки миров пропускает он через себя, впитывает с белых тонких пластин?.. генетический код Вселенной... если б она вдруг вся погибла, но осталось содержимое книг, оно могло бы оплодотворить щепотку праха и восстановить семя Богу... Сумасшедшее чувство, Жлухтин, вряд ли его понять нормальному человеку. Я испытал его однажды ночью, в ужасную бомбежку, когда понял, как теряют рассудок.

Актер деликатно опустил ресницы. Когда старик сам заводил речь о сумасшествии, это начинало казаться подозрительным. Не нарочно ли заговаривается, не темнит ли? В войну у него погибла жена, умерла в эвакуации, оставив на чужих руках новорожденного сына, и старик до сих пор чувствовал на себе вину за то, что отпустил ее одну, не уберег. Он вроде собирался ехать с ней, но задержался на единственный день по службе и главное — чтоб хоть как-то пристроить свою библиотеку. А там вдруг его не отпустило какое-то военное начальство. Жлухтин до сих пор толком не уяснил, кому мог понадобиться в военной Москве этот гном — консультант по черт знает каким саламандровым языкам или саламандровой кухне, переплетчик по не менее

саламандровой коже — он смутно представлял себе его мирское, так сказать, занятие, слишком возвышенно склонен был изъясняться старик, да глядишь, и присочинял — не имело это теперь никакого значения. Во всей истории актера интересовало единственное: тот самый сыночек, нашедшийся после войны, теперь уже, естественно, взрослый мужик, вокруг которого старик то ли напускал туману, то ли в самом деле ничего про него не знал. Любопытствовать тоже надо было осторожно.

— Придется мне все-таки прилечь. Давайте книгу, я спрячу.

Уникумы хранились особо под замком: писания чудаков, монахов и графоманов, инкунабулы, сочинения вольнодумцев, недоуничтоженные цензурой, чудом выжившие манускрипты, корректуры, не давшие тиража — избранные голоса десятилетий и эпох. Все прочие тома, заполнившие комнату, были скорей материал, обменная валюта, рабочие насекомые, вскармливающие царицу: глухой красный шкаф, как мощный сейф, набухал тяжестью, грозя продавить пол. Жлухтин потел, прикидывая ему денежную цену. Сейчас пальцы его ласкали гладкое тело книги, трогали рельеф тиснения, как трогают женский сосок, и плоть его твердела от жажды обладания, не столь уж отличной от других разновидностей этой тяги, хотя и менее целесообразной для продолжения рода человеческого. Впрочем, кто знает хитрые пути природы?

— Вы будто боитесь, что я утащу,— скривился актер.

— Эту — вряд ли. Характера не хватит.— (Зачем я это говорю? — прислушался сам к себе.) Он знал, что книги с полок Жлухтин поворачивает, да тот и не особо тайлся, считая себя вправе возмещать многолетние издержки — однако не слишком нагло, чтобы не рисковать главным.— Хотя... Ведь так: взять да уйти... да что угодно. Меня-то неделю никто не хватится.

— И что вы думаете? — оскалился актер; было видно, каким напряжением составила эта неточная усмешка.— Мало бродит желающих? Так и кружат, и принохиваются. Если б не я...

— А... Значит, мне вас надо благодарить?

— Я благодарности не прошу. Характер собачий. Я, может, на этой почве сердце себе испортил.

Глаза у старика были ясные, невыцветшие, все еще не нуждавшиеся в очках; как и голос, они словно вдруг высветляли все лицо с точеным носом и хорошо вылепленным лбом; но может быть, из-за краснотцы в самых уголках чудилось в них что-то тлеющее, сдерживаемое, безмерное, как тоска, от которой становилось не по себе. Было неосторожностью встретиться с этим взглядом.

— Э, давайте, давайте.

Он потянул книгу из толстых пальцев с ногтями, напоминавшими выпуклые речные ракушки. Бедняга, казалось, сам не ощущал, как крепко за нее ухватился. Под тисненым переплетом со стуком перекатывались косточки чьей-то тщетной жизни. Старик запер шкаф, повесил ключ на шею и заправил шнурок под рубашку — скупец из классического сюжета. Актер облизнул толстые губы; он все еще глядел на сомкнувшиеся створки — там виделся ему антимир упущенных возможностей, недостающая половина собственного существа, воссоединение с которой обещало полноту — а впрочем, ничего не обещало, но он этого еще не знал, и стоило ли его разочаровывать? Он этим жил, он был способен испытывать страдание при мысли об этих уязвимых телах, которыми нищий дурачок торгует на базаре, которые рвут на самокрутки, оскорбляя перед смертью слюной. Написанное там его не слишком занимало, но он был посвящен в иные страсти, те, что оведали самую поверхность этих много испытавших корешков и переплетов; дыхание семейных драм, войн, разорений, запах костров, пожарищ, корысти и преступлений, революций и арестов, смертельного страха и риска, следы потных пальцев и слез давно истлевших людей.

— Я — что! — скорбно сказал актер и усмехнулся. — Надо мной правильно и посмеяться. Я даже там не беру, где другой охапкой гребет. Один наш рассказывал, были у них гастроли в Ташкенте после землетрясения. Так там, говорят, за копейки можно было взять целые библиотеки. Люди без крыши над головой, отдают. А ты, как идиот, неизвестно где.

— Да, — негромко отозвался старик, — это вы знаете. Ото всего, что горит, сюда накапывает, как со свечи. И чем времена беспощадней к людям, тем накапывает щедрей. Вам трудно вообразить, Жлухтин, изпод каких обломков, из каких опустевших квартир

приходило сюда все это. Что землетрясения!.. И кто-то должен был сохранять книги. Поверьте, это тоже бывало небезопасно. Я вам рассказывал, как застал жену, когда она уничтожала что-то, что ей казалось рискованно держать.

— Женщина! — качнул головой актер. — Я всегда говорю: женщина не может относиться к книгам по-настоящему. Какая бы ни была, но по-настоящему... понимаете?

И вновь наткнулся на невыносимо-внимательный взгляд ясных нестарческих глаз.

— Вон тот стеллаж за вашей спиной когда-то принадлежал ей... в красном марокене — синодальные издания и всё, что наверху. Еще кое-что в шкафу. Остались ей от отца. При всей своей тогдашней нищете — без заработка и милостыни... она даже не понимала мысли, что можно их продать. Если б не возник я... Меня она сочла достойным. Почему? Ведь вкус ее был абсолютен, как бывает абсолютным слух...

...тонкий овал, нос с горбинкой, гладкие волосы, осанка титулованной особы (проявилось на внутренней оболочке век)... и кто там, во мгле, с темным клинышком бородки и высоким лбом, в белой косоворотке под пиджаком — маскарадном, ничего не значащем одеянии? Зеркало висело наклонно, высоко против дверей, круглое, как зрачок, оно запрокидывало входящего — он так до конца и не привык к этому пристальному оку — занесенный сюда не случайной судьбой, не избравший, но избранный ею, еще не слишком донимающий себя вопросом, что мог он значить для этой женщины. Чем он ее пленил? Высотой разговора? Подвигом бескорыстного до святости мародечества? Он что-то впервые, может, постиг лишь в тот вечер, когда без скрипа открывшаяся дверь позволила ему, словно ревнивому любовнику, увидеть в то самое зеркало, как она рвет книги. Она растерзывала их на тетрадки, на листы, в клочья (чтобы спустить в унитаз, ибо в доме не было печи). Он мог бы и впрямь поверить, что она делала это из страха за него, если б не успел подсмотреть выражения ее лица — и на мгновение догадался, что значила для нее жизнь с ним... Всего на мгновение: больше он себе не позволил, он старался заглушить понимание даже тогда,

когда она стояла с ним на перроне, пальтишко с переставленными пуговицами едва застегивалось на животе, осанка откинутого назад стана казалась естественно созданной, чтобы уравновесить этот груз: она все-таки взяла от него то, на что готова была утратить надежду; незнакомая, вопрошающая и незащищенная улыбка подрагивала на ее губах — и безвозвратно таяла, удаляясь вместе с запахом угольной гари и горя, с криками и стуком колес, ее уносило течением, а он не имел воли сдвинуться, как во сне...

Жлухтин у полок изучал знакомые корешки, но может, и не видел их, занятый какими-то беспокойными мыслями; ноги его, как два особых толстых животных, переступали, ерзали. С места, где он стоял, открывался дом напротив, швы, промазанные черным варом, выпирающие балкончики с развешанным бельем; с кушетки виден был лишь витраж окна, заполненный пустотой. В открытую форточку лезли звуки мелкими, дергаными кусками: на пластинке музыкального аппарата застряла игла, и некому было ее подтолкнуть. Пространство за окном было абстрактным, требовалось усилие, чтобы поместить в него улицу, где, видно, назревал дождь, а может, снег, сам этот старый дом с облезлым фасадом, с ржавой крышей, такой ненадежной, когда он дежурил на ней во время воздушных налетов... неужто он? «Я», воспринимавшее мир, не имело возраста, роста и внешности, давно обитая в пространстве без зеркал...

где-то в ящике валялись забытые предметы: трудовая книжка с записями о фантастическом стаже, диплом Александрийского общества древностей, фотография молодого человека в кожаном картузе и с кобурой на поясе (откуда это?) — коллекция сувениров на память о действительном пребывании в некоторых местах жизни... — подлинник инквизиционного вердикта — приговор не пожелавшему раскаяться черно-книжнику и позеленевшая медаль «За оборону Москвы»...

он изумлял всех бессонной истовостью и отвагой в охране дома, где у него уже не было семьи; телеграмма об этом пришла накануне, выла сирена, уступы города чернели среди зарев и вспышек, как до сотворе-

ния мира или после его конца, а он не испытывал даже страха перед этими бутафорскими разрывами, как будто знал, что заговорен вместе с домом. Слишком тяжелые щипцы для зажигалок лежали, брошенные, на крыше. Прожектора проклеивали купол неба вперекрест, словно полоски бумаги, оберегавшие стекла от бомбежек, и это казалось вздором: не было там хрупкости, скорей тяжесть чугуна в дымном жирном нагаре, местами раскаленного докрасна. Стоило плюнуть туда, как на сковородку, чтобы удостовериться — он так и сделал, запрокинув лицо, и вздрогнул, когда в ответ зашипело, треснуло: попал!

Задрав бородку, он плевал вверх в приступе шутовского безумия. Шипенье и грохот коржили свод над головой, он трещал, проколы зияли в нем, как открывшиеся звезды, слезы вытягивали из них крестообразные лучи — пока что-то не разверзлось, не сорвалось; его состегнуло в воздух, перекувырнуло в пустоте... Замирал гул самолета, струна расщеплялась в вату, стекла оплавливались, осколки становились брызгами... За ровно отвалившейся, как на макете, стеной соседнего дома открылись полки с книгами — яйцекладка фантастического термитника, сияющая в зареве пожара; черные оболочки наливались изнутри ясным светом; обгорелые трупики валялись вокруг. И, еще лежа на земле среди мешков с песком, сквозь оглушение, гул, безмыслие, с усталой покорностью, с инстинктивной самоотверженностью насекомого он потянулся их спасти — уже начиная догадываться, что поражение его глубже, чем он думал, что для него больше нет ни продолжения, ни начала, ничего, лишь круженье, удушье, жар, бой сорвавшихся с цепи часов: бом! бом! бом!..

Постойте, постойте! я сбился со счета! Пожалуйста, сначала!..

Покачиваясь, приближалось лицо с выпуклым лбом, и он, задыхаясь, узнавал эти худенькие мальчишеские черты, исчезнувшие, чтобы однажды вернуться в неведомом облике... он так боялся, что не узнает сына. Лицо росло, светлело, разбухало, щеки надувались, как отражение в самоваре. На лбу напряглись капельки пота. В зрачках отражалось перевернутое окно.

— А вот и я! — сказал, не шевельнув губами (ар-

тист оригинального, и только оригинального жанра).— Ай-яй, Владим Модестыч, вы все-таки того... как напугали меня.

— А-а... Вы стучали? А дверь открыта...

Лицо отодвинулось, приняв обычный вид. Ладонь, пухлая, как передутая резиновая перчатка, отерла лоб. Страх отхлынул, оставив на месте сердца болезненную пустоту. За окном очередной раз сменилось время года. Свет, ослабев, теперь не устремлялся внутрь комнаты, а обвисал у решетки, словно продавленный через мясорубку, и предметы не отбрасывали теней. Искромсанные звуки все лезли в форточку — надолго, видно, ушел хозяин. Но что-то произошло с прошлого раза, что-то напряглось в воздухе.

— Напугали вы меня, Владим Модестыч,— актер пытался сжевать с лица застигнутое врасплох выражение.

— Простите.

— Не понимаю.

— Простите меня, Жлухтин.

— О чем речь! Вам помочь? Таблеточку вон примите, у меня с собой. Может, врача вызвать?

— Жлухтин!..— вдруг горячо забормотал старик...— если бы у вас было понятие о милосердии... Меня так мало осталось... вот, еще на несколько стоп... но я сам не могу... не могу, понимаете? Неужели я сам должен сказать, чего хочу от вас? Я сам не могу. И никогда не смогу... я пробовал. У вас ведь зубы крошатся, и сердце уже пошаливает... э, Жлухтин!.. Хотите, я скажу вам, для кого держу открытой дверь? Да вы сами знаете. У меня есть сын, Жлухтин, учтите. Он еще явится. Мне сейчас показалось... я в забытьи принял вас за него. Смешно?.. я боюсь его не узнать. Он у меня почти не жил... все время здесь ужасно болел. Родственница жены забрала к себе, сказала, что мальчику нужен женский уход. Врач даже не мог понять. Он задыхался, кашлял... на коже сыпь. Видно, от книжной пыли. Он был с этим несовместим... от рождения. Но все-таки, когда-нибудь?.. Жлухтин, вы меня не слышите?.. Он бы знал, как распорядиться... все это разорить и развеять. У него это в крови. Жлухтин?..

Пальцы актера механически сжимались и разжимались, костяшки их побелели. Он ничего не слышал, он не мог слышать беззвучного бормотания — но хоть

догадывался?.. бедняга, стерегущий неведомо кого, чтоб оспорить права наследственного, кровного родства — ордалией, поединком с переливанием крови на совместимость: кто останется жив?.. трагическая обезьяна, гротескный двойник, с которым успел сродниться до боли... О Господи!..

прохладные лучи касались камней, покрытых мхом, оевали пылающие ступни, оевали траву, как музыка, обещающая избавление и отдых... в ней растворялся плач по неизбытой жизни, по непрогоревшей золе, по иссохшим обмылкам, по гонимому ветром песку, по влаге, не вытекающей из скорлупы...

Нет, это читал не он: кто-то читал его самого, водил пальцем по буквам, по груди, у шеи отвратительно влажной от страха ладонью. Шнурок от ключа больно впился в горло, перехватывая дыхание. Ведь ножницы на столе, — подумал он в досаде на эту неисправимую безмозглость, — зачем же зря мучить? Но боялся застонать вслух, чтобы не спугнуть долгожданное чувство готовности, податливости, открытости до самых глубин: наконец-то!

наконец... осталось всего несколько страниц: это их он безотчетно вызывал, дразнил, накликивал разрешение сна — незаслуженный покой, вожденный берег, где отцветал миндаль, роняя усыхающие лепестки, и тяжелел, насытись, кузнечик... Музыка застряла у самого горла. Он, не выдержав, дернулся — твердый ноготь в судорожном испуге больно вдавился в яремную ямку — им было уже не оторваться друг от друга: вместе их понесло в знакомый черный провал, где фосфоресцировали поденки, вычерчивая в нетерпеливом танце след своей жизни, где шевелились первобытные страхи детства — но не хватило дыхания, их опрокинуло, и все пронеслось обратной чередой: ключья мрака, вспышки и светлячки...

глаза его выпучились, расперев веки — так открывается зажатый в пальцах зев цветка. Жлухтин в своем углу стоял вверх ногами на вытянутой руке, среди повисших в пустоте предметов, остекленевших звуков, в студенистой вечности — и он еще успел понять, что конца не будет.